В. ЗЕНЗИНОВ

НЕНА

В. Зензинов

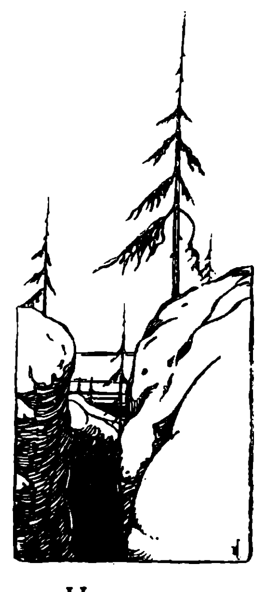
НЕНА

БЕРЛИН
1925

Buchdruckerei Lutze & Vogt G. m. b. H. Berlin SW 48

Посвящается

А. О. Ф.



С момента встречи и до самой ее смерти мы почти не разлучались. За эти три с половиной года мы расставались с ней всего лишь несколько раз и не на долго — все остальное время прожили вместе, и если не душа в душу, то во всяком случае в такой дружбе и взаимной привязанности, каких я, по крайней мере, не испытывал ни раньше, ни позднее.

Наша встреча произошла ранней весной.

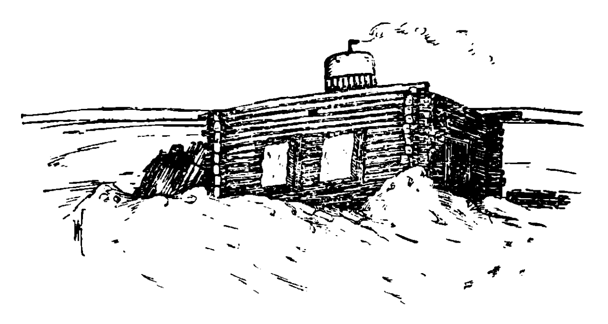
Последнюю зиму в качестве ссыльного мне пришлось провести в Верхоянске — кончался третий год моей ссылки, впереди оставалось еще два года.

Только тот, кто сам испытал на себе прелести верхоянской зимы, поймет, что значит приближение весны на далеком севере. Достаточно сказать, что в том году (это было в 1913 г.) в январе морозы достигали — 71 градусов по Цельзию (т. е. — 57 градусов по Реомюру) и я в своей юрте предпочитал чуть не неделями пить чай без сахара, чем идти за ним в соседнюю лавочку, находившуюся от меня в какой-нибудь

сотне саженей. Когда надо было в такой морозище выйти на улицу — в лавочку или по соседству в гости к товарищу, я снаряжался, как в серьезную экспедицию: надевал меховые штаны, заячьи чулки, поверх них оленьи торбаса, на себя накидывал двойную оленью рубашку (кухлянку) с огромным чепцом, отороченным вокруг лица волчьим хвостом, а руки прятал в чудесные белые рукавицы, сшитые из шкуры с оленьих ног — подарок одной юкагирки (среди юкагиров я кочевал близ реки Индигирки, недалеко от океана). И даже в таком одеянии верхоянский мороз сильно давал себя знать...

О приближении весны можно было догадываться уже в марте. Но не потому вовсе, что стало тепло — нет, выше 40—35 градусов мороза термометр не поднимался. О весне говорило лишь солнце — оно теперь раньше поднималось, позднее закатывалось, а главное — оно как то ярче и победоноснее сияло. Нигде потом — ни под тропиками, ни на самом экваторе (а мне пришлось побывать и там) — не видел я такого торжественного, победного света! Солнце величественно поднималось утром среди безграничного простора снегов и весь день до позднего вечера сверкало на всегда безоблачном бледно-голубом небе таким ослепительным светом, отражаясь мириадами алмазных искр в снегу, что в эти месяцы нельзя было долго оставаться под открытым небом безнаказанно для глаз — без темных консервов или без якутских волосяных очков ходить было невозможно.

В середине апреля весна уже стучалась в окна — солнечные лучи сделались настолько яркими, что оконные льдины, заменяющие на севере стекла, начинали потеть изнутри. Уже лень было надевать шубу, чтобы достать заготовленные у юрты дрова или лед, необходимый для приготовления чая. Выбежишь, бывало, в одной куртке во двор и нарочно подольше возишься с дровами, не обращая особенного внимания на мороз. Если зимой на улице



градусов 20 мороза, в Верхоянске говорят — „сегодня теплый день!“

После долгих дипломатических переговоров с верхоянским исправником мне удалось его убедить, что на третий год ссылки я имею право перебраться в пределах того же Верхоянского округа в другое место. Таким местом я наметил себе селение Булун в низовьях Лены, которое считалось в административных кругах местом еще более суровой ссылки, чем Верхоянск и находилось от последнего на расстоянии не меньше тысячи верст к северу.

Меня Булун привлекал тем, что лежал на Лене, что туда два раза за лето приходил пароход из Якутска, главным же образом тем, что это было... новое место. А страсть бродяжить за те два слишком года, что я прожил в Якутской области, сделав за это время по ее северу на оленях и собаках не менее шести тысяч верст, у меня была велика.

В последних числах апреля на трех нартах я выехал из Верхоянска. Впереди ехал тунгус-ямщик с длинным шестом („таях“), которым он направлял бег оленей, за ним другая нарта с моей кладью, сзади я в своей кибитке.

Есть в этой езде на оленях своя прелесть, даже свое, если угодно, очарование. Не знаю, с чем можно сравнить это странствование по беспредельному северу Якутской области — разве с плаванием по морю. Но здесь — больше разнообразия. Вы едете по колоссальной безлюдной пустыне и можете проехать несколько сотен верст, не встретив жилья, не встретив даже ни одного человека. Дорогу ямщик угадывает больше каким то наитием. Обычно думают, что Якутская область и особенно ее север— это безграничная тундра, ровная как доска, безлесная, однообразная... Приморская тундра, действительно, отвечает такому представлению, хотя и она вся перерезана пологими холмистыми возвышениями. Сама же Якутская область, наоборот, поражает своим разнообразием. Здесь и огромные дремучие леса, и ложбины, и скалы, и ущелья, прорезанные в горах бесчисленными реками и речушками. Помню,

как я был поражен, когда с Индигирки откочевывал на юг к Верхоянску: в течение нескольких дней, между якутским селением Абый, лежащим на Колымской дороге, и Верхоянском, мы ехали среди грандиозных скалистых гор ущельем, которое своими размерами значительно превосходило прославленное Дарьяльское ущелье. И не только размерами — не боясь впасть в преувеличение, я бы сказал: своей величественностью и своей дикой красотой...

По пустыне нам пришлось ехать и теперь. От Верхоянска до Булуна считается что то около девятисот верст. Но версты в Якутской области екатерининские (по 700 саженей!), да и кто их когда проверял? Здесь наверное было больше тысячи... Сделали мы эту дорогу в две слишком недели и ехали быстро.

Быстро скользили мы извилистым ложем речушек, пересекали большие леса, взбирались на какие то горы, с бешеной быстротой скатывались с них по необозримым снежным равнинам, иной раз в пути наблюдали, как всходило солнце, нередко останавливались на ночлег уже при звездах. Мой ямщик, тунгус Тута, старался на ночеву завернуть куда-нибудь в сторону, к знакомым тунгусам или якутам. Я же всегда старался настоять, чтобы ночевать нам приходилось в „поварнях“. Поварнями называются юрты, построенные на общественный счет специально для нужд путников. Они всегда нежилые, но теоретически в них должен быть заготовлен для нужд путешественников лед (для приго-

товления чая) и дрова. Я предпочитал поварни, так как в них не было той смрадной вони и грязи, которыми всегда полны жилые якутские юрты, а кроме того тишина и одиночество более соответствовали тому ликующему душевному настроению, которое тогда у меня было благодаря весне и тому, что, вырвавшись из Верхоянска, от старого я ехал к новому, от известного к неизвестному. Тута, наоборот, предпочитал юрты своих земляков, так как, во первых, там ему было меньше работы и хлопот с оленями, — всегда кто-нибудь поможет, а, во вторых, что может быть для него было еще важнее, он мог отвести душу в разговорах о последних новостях — ведь он ехал из города Верхоянска! А гость да еще с новостями — это событие, для такого гостя всегда найдется и лишний жирный кусок оленины и лишняя тарелка строганины...

Большею частью победителем оказывался в этой упорной и глухой борьбе за место ночлега я — и не только потому, что я был тойон, а он — только ямщик, но еще и потому, что жилых то юрт на нашей дороге было мало...

Я и сейчас с удовольствием вспоминаю об этом путешествии. Нигде и никогда я не чувствовал себя таким близким к природе, как здесь, в этих странствиях. Все путы порваны — старые надоевшие места навеки оставлены, впереди — неизвестное будущее. Такое ощущение вероятно испытывает птица во время весеннего перелета. И сейчас, когда я пишу это, передо мной развертывается целая лента.

Вот дикое узкое ущелье с нависшими скалами, засыпанное снегом, на котором сверкает весеннее солнце. Ущелье идет причудливыми зигзагами, за каждым из которых можно увидеть что-нибудь неожиданное... И, действительно, один раз мы натолкнулись на диких оленей, которые в испуге прыснули во все стороны, другой раз за выступом, шагах в тридцати, неожиданно увидали на горном склоне приманку тунгусов-охотников, так называемых „чубуку" (горных баранов)... Вот огромная лысая гора с черными камнями, с которых ветер сдул снег — на вершине ее шест со множеством болтающихся на волосяных нитках пестрых лоскутков, это — якутский жертвенник „духу места". Ясно вспоминаю сейчас одну ночеву в крошечной поварне среди ровных и молчаливых, засыпанных снегом гор, в которой едва-едва могли мы с Тутой поместиться вдвоем. При свете ярко пылающего веселого камелька мы долго пили вечером чай, причем я не жалел подбавлять в него рома... Тута развеселился и гортанным голосом, с закрытыми глазами, покачиваясь всем телом, распевал свои песни, а я со сладкой грустью слушал его, не спуская глаз с пылающих смолистых дров и думал о том, что было мне так дорого и что осталось там, далеко, далеко... Потом Тута, наклонившись ко мне и положив свои ладони на мои колена, что то горячо и долго мне говорил, а я в ответ говорил ему свое... И мы весело кивали друг другу головой, похлопывали друг друга по плечу и каждый был доволен собеседником, хотя Тута ничего не по-

нимал по-русски, а я ничего „не слышал“ по-тунгусски. Скоро он разделся до гола — они все спят здесь совершенно обнаженными, закрывшись лохмотьями мехового одеяла — и заснул у самого ка-



мелька с блаженной улыбкой на лице. А я вышел из поварни и долго любовался серебряными горами, на снегу которых сверкали месяц и звезды, дождался солнца, от которого порозовели все вершины и смотрел на невиданную картину борьбы между собой на снежном просторе вечерней и утренней зорь, которые здесь в это время уже сходятся вплотную, на борьбу между месяцем, звездами и солнцем...

А днем я пьянел от этого солнца. Глаза слепли даже под синими консервами. Солнце сверкало ослепительно и все кругом наполняло пьянящей радостью. Давно уже я запрятал под себя кухлянку и ехал в одной меховой куртке, накинув лишь на ноги свое песцовое одеяло. На коленях у меня лежал истрепанный Пушкин — в однотомном издании Павленкова, и я в упоении громко декламировал



его, со смехом подмечая иногда на себе удивленные взгляды Туты, который вероятно думал, что я молюсь, и любовно гладя бархатистые весенние рога и нежные губы „заводного" (т. е. запасного) оленя, который был привязан сзади к моей нарте и который, когда я протягивал к нему руку, боязливо косился на меня своим огромным темно-карим влажным глазом...

На речке Хараулах (т. е. „Черная Вода"), уже впадавшей в Лену, Тута завез меня на ночеву к

своему приятелю ламуту. Ламутами называются тунгусы, живущие близ моря — ЛАМ по-тунгусски значит море. Дома оказалась только старуха. Она немедленно придвинула медный чайник к огню, соскребла ножом кожу с великолепного озерного чира (особенно ценящаяся на севере рыба), наструтала строганину, подала ни тарелке копченые кусочки оленины, напоминающие сухарики из черного хлеба, угостила даже таким лакомством, как копченый олений язык и сырой мороженый мозг из оленьих ног (смею уверить, что последнее было особенно вкусно — нечто среднее между сливочным маслом и сливочным мороженым). В свою очередь я заварил в крутом кипятке мороженые пельмени, достал банку сгущеного молока, ржаные сухари... Наш пир оказался на славу. Старуха ламутка, похожая лицом на сморщенное печеное яблоко, и мой Тута долго и с удовольствием после еды рыгали ради уважения ко мне, такому хорошему нюча-тойону (русскому начальнику).



Вот здесь то в ламутской юрте и произошло то знакомство, о котором я хочу рассказать.

Вскоре после того, как я уселся на орон (нары), на подложенные под меня в несколько рядов оленьи шкуры, мое внимание было

привлечено к serенькому шарику, который безостановочно шмыгал по юрте под ногами у присутствовавших. То он вскочит на орон, с орона ко мне на колени, оттуда под стол, визжит уже под ногами у старухи, отброшенный ее ногой, весело впивается острыми зубенками в ее подол, оживленно и забавно размахивая пушистым хвостиком, стрелой проскальзывает в приоткрытую дверь и уже где-то там заливается серебряным лаем на дворе...

Это была прелестная маленькая собаченка, пушистая, серенькая как мышь, с потешной мордашкой, как у лисицы, с острыми, торчком стоящими ушами. Всего больше походила она именно на лисенка.

Я привык на севере к собакам, на Индигирке я прожил с одной собаченкой душа в душу целый год, ценил и любил их и никогда не удивлялся тому, что здесь все могут так по долгу, целыми часами, разговаривать о собаках. В жизни северян собака играет огромную роль — это их друг, помощник, страж, хранитель, „наша единственная скотинка“, как любовно говорил мне один, русскоустинец. Не только своих собственных собак, но на округу в 100-200 верст, все знают собак „в лицо“, их имена, даже характер и особенности каждой. Я сам присутствовал при разговорах, когда не только собравшаяся молодежь, но и серьезные промышленники по долгу и горячо обсуждали статьи той или иной собаки. И я сам близко к сердцу принимал и понимал их волнение, их интерес.

Теперь, увидав эту маленькую серенькую собачку, я сразу отметил ее среди всех остальных мною раньше виденных. Она поразила меня не только своей красотой и грацией. Она как то сразу завоевала меня своим веселым характером, своей подвижностью. Пока она была в юрте, буквально ни на минуту не оставалась она спокойной. То она залезет под орон и с торжеством тащит оттуда шкурку рыбы или начинает тянуть конец запрятанной сети, за что мимоходом получает звонкий шлепок от старухи... С визгом летит в сторону и вот уже снова за работой, пытаясь протащить через всю юрту брошенную в углу кухлянку... Порой на минутку сядет на задние лапки и замрет, комично заломив одно ухо и навострив другое...



Я не мог оторваться от нее, так она была потешна и красива. Наша дружба завязалась очень скоро. Попробовал дать ей сухарик — она понюхала, не поняла и умчалась прочь. Я обмакнул сухарик в сладкое сгущеное молоко — такой же результат. Тогда, поймав ее на ороне, я вымазал молоком ее мордашку — она с гримасой стала слизывать липкое молоко и... сразу почувствовала пре-

лести цивилизации. Сладкое молоко ей, конечно, очень пришлось по вкусу, кусочек сухарика был немедленно изгрызан ее тонкими, как булавки, зубен ками. Теперь она уже не отходила от меня и на ночь уютно устроилась у меня в ногах под моим одеялом. Это оказалось решающим моментом — наша дружба с тех пор была заключена.

Еще с вечера я завел со старухой разговор об этой собаченке. — „Торгуй, эмяксин, ыт! (т. е. — „старуха, продай собаку.“) — Старуха решительно покачала головой. — „Нет!“ — Я знал, как промышленники дорожат своими собаками и не удивился этому отказу, хотя, конечно, с другой стороны, отказывать в чем-либо гостю и считается на севере верхом невежливости.

Раздобыть для себя эту веселую собаченку вдруг запало мне в душу — я решил настоять на своем.

На другой день я нарочно тянул от'езд, чтобы дождаться хозяина. Утром мне показали привязанную к дереву собаку — похожую на серого волка, лишь несколько легче и изящнее его складом. Это была мать так понравившейся мне собаченки. Она спокойно лежала в снегу и почти не обращала внимания на свою шаловливую дочь, которая с визгом бегала вокруг нее, теребила за хвост, за уши, перелезала через нее... Только иногда, как будто равнодушным, но вместе с тем любовным движением, оскаливая белоснежные зубы, брала ее в пасть поперек туловища и отбрасывала в сторону. Они

обе в эту мунуту не походили на собак — это были играющие друг с другом звери.

Хозяин старухи вернулся домой, когда солнце стояло уже высоко. Он осматривал свои пасти и привез двух добытых песцов. Длинное чаепитие, строганина, оленина... Длинный, медлительный разговор на воляпюке с репертуаром из якутских слов, мне известных. Старуха, конечно, уже рассказала ему во всех подробностях о нашей несостоявшейся сделке.—Продаст или не продаст? — задавал я себе вопрос.

Я уже собираюсь в путь, уже завязываю вокруг куртки потуже ремень. — Хозяин, — говорю я равнодушным голосом, — торгуй ыт! — „Торгуй нету, — с поклоном отвечает мне старик, — бери так." —

Это означало, что он не мог мне, как почетному гостю, отказать в моей просьбе — он предлагал мне собаку в подарок. Но я уже знал обычаи севера. — „Бахыбо, хозяин" (т. е. спасибо) — пожал обеими руками его руку и дал ему, тоже как подарок, десять рублей... Все церемонии северных обычаев были соблюдены.

Когда моя нарта тронулась, у меня на коленях лежала собаченка, испуганно и вместе с тем с любопытством выглядывая из под одеяла. Я здесь же окрестил ее „Неной" — НЕНА на языке морских ламутов значит — СОБАКА.

Так началась моя жизнь с Неной.

Через несколько дней я уже был в Булуне.

Моя нарта остановилась перед домиком, в котором жили „государственные“. Среди них были мои приятели, с которыми я сидел в Иркутской, Александровской и Якутской тюрьмах, с которыми вместе шел по этапу в Якутку. Оставив Нену в нарте под одеялом, я вошел к ним. После первых минут встречи я, выждав момент, с искусственно смущенным лицом, заявил им: — товарищи, прежде чем селиться у вас, я должен вас предупредить — я не один, со мной спутница... — С удовольствием заметил, как все трое лукаво и многозначительно между собой переглянулись. Мы все вместе вышли к нарте и я торжественно приподнял одеяло — Нена уже сидела, вопросительно поглядывая на нас и навострив свои остренькие уши. На лицах товарищей я прочитал разочарование.



Но скоро она сделалась и их любимицей. Посередине избы к потолку у нас была привязана для нее игрушка — на длинном шнурке круглая чурка на высоте ее роста. Нена часами играла с ней, носясь за ней кругами по комнате, визжа от наслаждения и порою злобно рыча от негодования, когда чурка, раскачнувшись,

стукала ее по лбу. За Неной ухаживали все, но признавала она только меня. Меня она очень скоро признала СВОИМ ХОЗЯИНОМ и я знаю — это чувство она потом пронесла через всю свою жизнь. Это, пожалуй, не была любовь, не была верность и преданность — собачья привязанность, конечно, больше всего этого. Я уверен, что обо мне она думала и на своем собачьем языке называла меня только так: „ОН!“ — обязательно со знаком восклицательным. ЧЕРЕЗ МЕНЯ воспринимала она всю жизнь, ОТ МЕНЯ шло для нее все... А я — я был к ней внешне строг, но в душе платил ей горячей любовью и она это хорошо понимала.

Очень быстро Нена сама нашла себе в нашей избе место — на моем одеяле в ногах, причем часто свою мордашку она клала на мои ноги и так засыпала. Вечером она сама залезала ко мне на ту импровизированную кровать, которую мы с товарищами соорудили в первый же день моего приезда, и слезала с нее только утром, когда я сам позволял ей это. Нередко, просыпаясь и открывая глаза, я уже встречался глазами с ней и понимал, что она нетерпеливо ждала этого момента и просит, чтобы я ей разрешил спрыгнуть на пол.

Мы были неразлучны — где был я, там всегда была и она. Необычайно быстро, с легкостью звереныша ориентировалась она в обстановке и никогда не ошибалась, когда мы после длинных прогулок возвращались домой — она всегда первая указывала мне дорогу. Видно было, что в лесу она чув-

стовала себя еще лучше, чем дома и подмечала в нем такие тайны, мимо которых я порой проходил равнодушно. Я доверял ей безгранично. Когда вскрылась Лена, я даже рискнул переехать вместе с ней на „ветке“ на другую сторону — река здесь около трех верст шириною и течет мощным полноводным потоком между двух каменных берегов. Меня предостерегали против такого опыта, но я еще на Индигирке постиг искусство плавания на „ветке“ (узкий плоскодонный челн на одного человека с двухлопастным веслом) и доверял Нене. И, действительно, на удивление всем благополучно одолел эту трудность, рискуя не только собой и Неной, но также ружьем и фотографическим аппаратом. Нена за весь переезд не сдвинулась с места



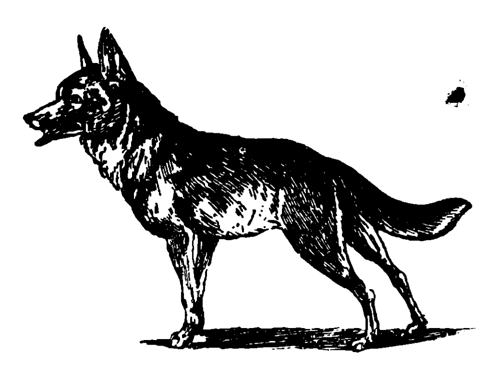
и лежала, положив голову на передние лапы, не спуская с меня ни на мгновение глаз.

Мы бродили с нею вместе по болотам и по лесам, сидели в „засядке“, карауля гусей и лебедей, жили по несколько дней вдвоем в импровизированном шалаше. И видно было, что такая жизнь ей больше всего по вкусу.

На лето я поселился в Булуне отдельно у одного якута, разгородив свою комнату на две коморки — спальную и кабинет. Нена всегда лежала под моим письменным столом и иногда я украдкой

подмечал, как она утром потихоньку выглядывала из своей комнаты, не встал ли уже „ОН!“: — ей хотелось поскорее на улицу. Я притворялся спящим и она покорно возвращалась на свое место. И слышно было, как она снова укладывалась на свою „постель“ (такая же оленья шкура, как у меня), тяжело при этом вздыхая.

К осени она уже вполне сложилась. Это была прелестная собака — никогда ни раньше, ни позднее не приходилось мне видеть такой красавицы. Среднего роста, на точеных ножках, с прямой, как стрела, спиной, острая морда с глянцевитым черным носом, пушистый хвост. Красивые темно-карие глаза с огромным черным зрачком. Вся серая, немного дымчатого цвета, с черным ремнем по хребту. К зиме она обзавелась густой пушистой шубкой, которая блестела, будто вычищенная керосином. Всегда она была чиста и опрятна, очень следя за своим туалетом и часами себя облизывая—ее сухая шерсть трещала электрическими искрами, когда ее гладили.



Она понимала все, что я ей говорил и отвечала мне глазами. В одиночестве я привык разгова-

ривать с собой вслух и часто сам не знал, с кем я разговариваю — с собой или с Неной. Но всегда был убежден, что наш разговор нам обоим хорошо понятен.

У нее был характер. Это не был вовсе тот добродушный пес, с которым я прожил на Индигирке и который безропотно и без всяких дум сносил все, что я с ним делал. Нена хорошо разбиралась в моих собственных поступках. Она хорошо понимала, если я ее наказывал за дело и принимала это наказание, как должное, но обижалась, если я ее наказывал в пылу раздражения несправедливо. Тогда она старалась держаться вдали от меня и своим поведением всячески подчеркивала мою несправедливость: когда я ее звал, делала вид, что в первое время не слышит и отворачивалась с явно обиженным видом даже от тех лакомых кусков, которые я ей протягивал. Тогда мы мирились и она это принимала, как должное — в знак примирения она быстро, но без особой угодливости лизала мою руку и наши дружеские отношения сразу восстанавливались.

Было в ней что то от дикого зверя, от раздолья и приволья той тундры и того леса, среди которых она родилась. Иногда она куда-то на несколько часов уходила и знакомые якуты, приезжавшие в Булун, мне рассказывали, что встречали ее одну в лесу — в 15-20 верстах от нашего селения. Там она за кем-то гонялась, на кого-то охотилась. В прогулках с нею я нередко замечал, что места,

по которым я шел впервые, ей уже хорошо знакомы. После таких прогулок она приходила домой с виноватым видом, сейчас же ложилась на свою „постель“ и засыпала, вздрагивая во сне и во сне лая каким то нутряным еле слышным лаем — очевидно, она снова переживала только что испытанные впечатления. Особенно она дорожила тем, что добывала сама — пойманная мышь, с которой она сначала как кошка играла, а затем целиком проглатывала, ей, очевидно, была гораздо дороже и казалась вкуснее, чем даже строганина или копченая юкола из рыбы, так приятно хрустящая на зубах. Когда она сердилась, у нее щеткой поднималась на хребте шерсть, злобно приподнимали губы и пасть ощерялась острыми белоснежными зубами. Даже мне становилось тогда жутко — так походила она в эти мгновения на разозленного зверя, — волка, лисицу, песца. Но за всю свою жизнь ни меня, ни коголибо из моих друзей она ни разу не укусила. Удивляло меня еще то, что она хорошо различала людей, с которыми я был в сношениях: она строго отличала моих друзей от людей, мне безразличных и мне неприятных. Ей, несомнено, передавалось мое настроение.

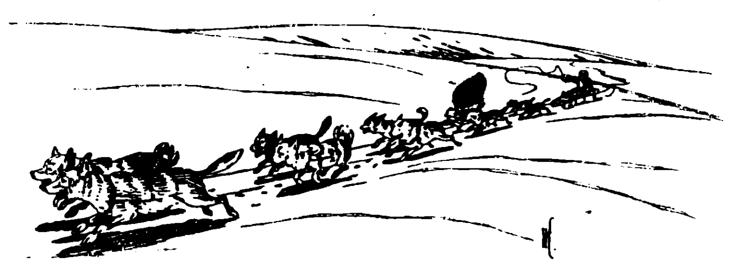
К зиме Нена превратилась уже в совершенно взрослую, сложившуюся собаку. Общественное мнение Булуна безапелляционно высказывалось в том смысле, что моя Нена, несомненно, является в Булуне лучшей собакой. Только некоторые робкие голоса неуверенно называли еще „Мойтрука“ (по

якутски „Ошейник“), здоровенного тунгусского пса, принадлежавшего местному псаломщику. Приезжающие в Булун тунгусы-промышленники засматривались на Нену, расспрашивали, чья собака и некоторые пытались у меня ее „торговать“. Я, конечно, отвечал им лишь улыбкой.

Здесь, на севере, все собаки делятся на две категории — на ездовых и на промышленных. Первая категория — ездовые собаки — являлась наиболее распространенной, можно сказать — основной; это рабочий скот, на котором возят дрова, лед, ездят по ловушкам. Это — народ грубый, вульгарный, неинтеллигентный, нечто вроде российских „дворняшек“. Это они наполняют бессмысленным, треплющим нервы воем длинные зимние ночи. Они имеются у каждого хозяина, — смотря по его достатку, собачья запряжка колеблется от шести до четырнадцати штук. Наоборот, промышленные собаки принадлежат к собачьей аристократии. Гораздо чаще встречаются они у кочевников—и то не больше одной, двух. Их берегут, их не кормят вместе с другими, с хозяином они находятся в гораздо более интимных отношениях, входя в круг его семьи: с промышленной собакой играют дети хозяина, она находится всегда у палатки или даже в самой палатке. Ее очень редко запрягают в нарту, с нею ранней осенью по глубокому снегу ловят песцов, она же помогает держать табун оленей вместе.

Нена, конечно, была промышленная собака. Но я не хотел пренебрегать ее воспитанием и несколь-

ко раз пускал ее в запряжке с другими — ездовыми собаками. Через три раза она уже постигла это искусство, и при желании мне небольшого труда стоило бы сделать из нее „передовую собаку“, т. е. такую, которая бежит впереди, тянет и увлекает за собой всю запряжку. Эти „передовые собаки“ на севере особенно высоко хозяевами ценятся. Мне не было нужды превращать Нену в рабочую собаку, но ее наука мне все же пригодилась: когда приходилось на себе выволакивать нарту с дровами из снега или когда позднее надо было летом тащить



на себе „ветку“ вверх по Лене — я припрягал Нену и она всегда добросовестно исполняла свои обязанности.

Гораздо больше обратил я внимания на Нену в другом отношении: я всегда брал ее с собой на охоту. И здесь она была на высоте положения: она выгоняла на меня зайцев, вынюхивала горностаев, отыскивала белок, всегда обращала мое внимание на куропаток, мимо которых зимой так легко пройти мимо. Для нее эти прогулки были сплошным наслаждением, блаженством. Так ясно я сей-

час вижу ее перед собой: с огромными усилиями, барахтаясь в глубоком рыхлом снегу, бежит она впереди моих лыж; она постоянно оглядывается на меня, широкая пасть разинута, из пасти среди острых белых клыков свисает темно-алый, почти малиновый язык, с которого капает слюна; глаза горят от возбуждения, все тело трепещет, вся она порыв, нетерпение — и вместе с тем ее внимание разделено между мною, хозяином, который каждую минуту может ей отдать приказание, и стремлением мчаться все дальше вперед, все дальше в завлекательную, таинственную глубь леса, где так много всего — шорохов, запахов, следов...

Нена не была моей рабочей собакой, но она и не была моей охотничьей собакой — она была гораздо больше всего этого. Нена была моим верным, испытанным — можно сказать единственным другом. Я жил в Булуне очень одиноко и был далек даже с товарищами по ссылке и по судьбе — больше, чем они, меня интересовала моя собственная внутренняя жизнь: северная ссылка и в особенности прожитый перед этим год на Индигирке в полном одиночестве располагали к самоуглублению. При таком настроении Нена, конечно, была для меня другом единственным в своем роде. Моя жизнь без нее была бы в то время совершенно иной, и даже сейчас, оглядываясь на прошлое, я не представляю, как бы я тогда прожил без нее. Она не навязывалась мне сама, она рабски мне подчинялась и всегда охотно принимала мою ласку. Всю свою жизнь она приспо-

собила к моим привычкам — из дома выходила лишь тогда, когда я ей это разрешал, часами могла спать под столом, пока я сидел за ним за своими книгами и тетрадями, с величайшей радостью сопровождала меня во все мои близкие и дальние прогулки. Она несомненно изучила мой характер и, так как я вел довольно регулярный образ жизни, то и сама отличалась необыкновенной консервативностью в своих привычках. Конечно, она чуяла меня еще издали, отличая от всех других, прекрасно знала мой голос. Я приучил ее к свисту и был один — особенный и пронзительный, на который она спешила, где бы он ее не застиг. Когда я вечером шел спать и Нены не было в избе, я обычно влезал на крышу своего домика и оттуда несколько раз пронзительно свистал этим особым свистом, известным только ей и мне. И всегда проходило не больше нескольких мгновений, редко когда больше полуминуты, как Нена вырывалась откуда то из мрака ночи и радостно бросалась мне на грудь. При этом она иногда от стремительного бега так тяжело и прерывисто дышала, что мне было несомненно, что мой свист заставал ее где-то далеко и она, бросая все, — все свои, быть может, очень важные дела, — мчалась на мой призыв. Кстати скажу: Нена никогда не выла, лай же ее я слышал всего лишь несколько раз в жизни — когда что-нибудь особенно ее поражало.

На изломе зимы пришла для Нены пора любви. Успехом среди собачьего населения Булуна она пользовалась огромным. Когда бы я не вышел из

избы — днем или ночью, я всегда находил около своего дома нескольких ее поклонников, совершенно напрасно ее дожидавшихся. Я был очень строг к этим несчастным влюбленным. Нену я держал взаперти в своей комнате и, выводя на прогулку, никогда не спускал ее с цепочки. Но даже и в тех случаях, когда я выходил один, меня всегда сопровождала целая стая поклонников Нены и я должен был отгонять их от себя шестом — очевидно, они чуяли от меня дух Нены. Особенно доставалось всегда при этом „Калгашу“ — лохматому, добродушному псу булунского исправника: откровенно говоря, я вымещал на бедняге наши политические разногласия с его хозяином. Снисходительно же отнесся я лишь к роману Нены с Мойтруком. Но, кажется, именно этот роман бедному Мойтруку стоил жизни, о чем мне рассказал один из товарищей по ссылке, бывший случайным свидетелем его смерти. Выйдя однажды ночью из своей избы, этот товарищ увидал странную сцену. Была яркая лунная ночь, и он отчетливо рассмотрел невдалеке большую свору возбужденных собак, кольцом кого-то окружавших. В середине что-то злобно рычало и бросалось из стороны в сторону, причем кольцо тогда резко прогибалось. Товарищ узнал в этом героически боровшемся против всех булунских собак псе — Мойтрука... Вдруг все собаки свились в один клубок, откуда долго слышен был страшный визг и рев... На утро псаломщик не нашел в сенях избы своего Мойтрука, который там обычно ночевал. А на том месте,

где ночью происходила свалка, остались лишь пятна крови и втоптанные в снег черные волосы... Мойтрук был разорван буквально в клочья — такой страшной и геройской смертью погиб этот пес. Не берусь, конечно, утверждать, что он погиб из за Нены и на нем, счастливом сопернике, вымещали свою неудачу отвергнутые ею булунские собаки. Может быть это был самосуд на другой почве, и его разорвали за крутой нрав и за то, что в одиночных схватках он неизменно задавал трепку всем собакам Булуна, которые хорошо знали его страшные зубы. Интересно, между прочим, что ко мне суровый Мойтрук, признававший одного лишь своего псаломщика, относился с какой-то подчеркнутой лаской. Я ни на минуту не сомневаюсь, что во мне он видел прежде всего хозяина Нены...

Через положенное число недель я ждал от Нены приплода и, не скрою, немало этим обстоятельством волновался. Нена охотно давала себя ощупывать, ложилась для этого сама на бок и, повернув ко мне голову, смотрела на меня вопрошающими и недоумевающими глазами — она как будто спрашивала меня: „Что это во мне завелось, что это во мне шевелится?“... И прижатой ладонью я ясно чувствовал эти движения, они, наконец, стали видны даже на глаз. Наконец, пришел и самый день.

Это было вечером, я мирно занимался за своим столом. Нена вот уже несколько часов как-то упорно не хотела оставить своей постели, которую я со всех сторон обложил шкурами, чтобы не дуло с по-

лу. Вдруг я услышал в ногах какую то подозрительную возню и, бросив книгу, нагнулся над Неной. Она как-то странно, пригнувшись к земле, кружилась на месте, как бы ища более удобного положения, затем легла. Все тело ее дрожало мелкой дрожью. Затем она вдруг вся изогнулась, закричала каким-то страшным новым голосом — и в ногах ее появился черный комочек, величиною с кулак. С озабоченным видом, оскалив зубы, Нена осторожно разрывала клыком облекавший этот комочек пузырь... Я тихо позвал ее по имени и осторожно погладил ее голову. Она вся была мокрая — от испытываемой муки и волнения. Она только на мгновение скосила на меня глаза и мимоходом слегка лизнула мою руку, давая тем знать, что понимает мое участие и принимает ласку. В промежуток часа в ногах Нены уже копошились четыре комочка — все с тою же заботливостью вынимала их Нена из пузыря, облизывала их до суха своим горячим воспаленным языком. И они, эти живые, но еще слепые комочки жизни, уже тыкались носами в материнские соски и с жадностью их сосали. Как зачарованный стоял я на коленях над Неной и наблюдал за этой тайной рождения. Кто научил всему этому Нену, кто подсказал ей, что она должна была делать? Я смотрел и думал о таинственной мудрости жизни, неразгаданной мудрости инстинкта... Четыре сухих и чистеньких блестящих комочка лежали в ногах Нены и в тишине ночи слышно было, как они тянули молоко и им захлебывались. Счаст-

ливая мать лежала неподвижно с закрытыми от утомления и блаженства глазами...

На утро я внимательно рассмотрел новорожденных — все четверо показались мне очаровательными. Среди них были три девочки и один мальчик. Мальчик был весь черный, как смоль, с маленькой белой отметиной на хребте. Девочки были — одна совсем серенькая, как Нена, другая с белыми пятнами, третья с желтоватыми подпалинами. Все четверо имели острые мордашки, торчащие уши и никто из них не пищал, а только беспомощно растопыривал ноги, когда я держал его на весу за хвост — прием, который применяют на севере для определения качества родившихся собак: если щенок при этой операции не кричит, из него вырастет добрая собака. Все четверо выдержали испытание и я от души поздравил Нену.

С жадностью принялась Нена за те лакомые куски, которые я ей приготовил. Но тут же она меня и насмешила. Нена всегда отличалась необычайным чувством собственности — только за мной одним признавала она право отбирать у нея куски, отбирать вещи, ей принадлежавшие. Стоило появиться кому-нибудь постороннему — и Нена всегда, бывало, торопливо проглатывала те куски, которые она оставила, наевшись уже до сыта. То же чувство собственности она распространяла и на мои вещи, ревниво оберегая их от всех действительных и мнимых покушений на них извне. Но вместе с тем должен признать, что Нена никогда не „пако-

тила". „Пакостливой" собакой на севере называют такую, которой нельзя ничего доверить. Нена, наоборот, отличалась необыкновенной честностью: ее даже голодной можно было всегда смело оставить одну в комнате и она никогда ничем не соблазнялась — никогда не брала того, что ей не принадлежало, — каким бы лакомством это для нее не являлось. Я часто делал Нене такие испытания и она из них всегда выходила блестяще. Но за свое держалась крепко — мне чужого не надо, но и своего не отдам; чувство собственности к принадлежавшему ей по праву у Нене было необыкновенное — единственное, в чем я мог упрекнуть ее характер. И вот здесь случилось так, что один из ее комочков, насосавшись до-сыта и безтолково тыкаясь во все стороны своей слепой мордочкой, перевалился на Ненины куски. И вдруг со смехом и изумлением я увидал, как Нена ощерила зубы и зарычала. Правда, рычание это не было сердитым, она выводила при этом какие-то рулады и подвизгивания. Я даже чувствовал в ее голосе какое-то недоумение. И я долго хохотал, но, кажется, и понимал: действительно, что-то живое, шевелящееся подбирается к кускам (ее кускам!), но вместе с тем это живое есть часть ее самой... Как разрешить эту дилемму — любовь к своей собственности и любовь к себе самой... Было от чего Нене придти в недоумение в ее новом, непонятном положении... — Дуреха ты дуреха! — говорил я ей сквозь слезы, выступившие от смеха. Нена во-

просительно смотрела на меня и как будто просила раз'яснить, что же все это значит, в конце концов?...

Жизнь моя наполнилась новым содержанием. Долгими часами наблюдал я, как жила семья Нены, как в каждом из ее членов день за днем росло сознание. И клянусь — это было интереснее многих книг, которые у меня стояли на полках! Следить за самим источником и течением жизни, за



тем, как возникает и оформляется сознание, как живое существо — источник жизни для других в будущем — в буквальном смысле слова открывает глаза на весь Божий мир, как оно воспринимает первые впечатления жизни и в них разбирается — разве это не живая философия, не живая наука? И я с жадным любопытством смотрел, наблюдал, следил — и учился многому.

Надо было дать детям Нены имена. Я придумал для них оригинальные клички из области якутских междометий. Единственного сына Нены я назвал „Оксе!“ — выражение удивления и уважения,

которое якуты издают при каждом неожиданном явлении. Красивую бело-серенькую дочку Нены звали „Сёп!“, равносильное английскому all right!, с желтыми подпалинами — „Аллярхай!“, т. е. „беда! Боже мой!“ и сплошь серенькую, как две капли воды похожую на самое Нену, когда она была щенком я, естественно, назвал также „Неной“. Каждый таким образом был определен, каждый получил свое место. И каждый из них очень скоро проявил свои особые индивидуальные черты характера.

Моей любимицей была „Сёп“ или, как я ее звал, „Сёпушка“. Это была на редкость ласковая и милая собаченка. Сочетание белого с серым было очень красиво и шерсть ее была какая то особенно пушистая и нежная, как у первосортного песца, окраской своей она даже местами походила на голубого песца бледно-дымчатого цвета. Сёп была наиболее игривым щеночком. Маленькая Нена была точным повторением матери, но благодаря хорошему питанию матери, она сделалась немного тучной и, грешным делом, больше других любила и поесть и поспать. Поэтому в дружеском кругу мы ее еще называли „купчихой“ — якутских купчих с такими наклонностями в Булуне было, действительно, несколько. „Аллярхай“ была быть может наименее удачным произведением Нены — как то без особенной индивидуальности. Что касается „Оксе“, то это была серьезная штука. Головастый, с крупными лапами, крепко сколоченный, он значительно отличался от своих изящных и легких сестер. Весь

он уродился в отца — не только он был так же черен, как покойный Мойтрук, но даже клок белых волос на хребте был у него совершенно на том же месте, что и у Мойтрука. Не знаю почему, но я был к нему как-то пристрастен — за проступки я его наказывал строже, чем других — между тем, как сейчас припоминаю, это был очень добродушный пес. Случаются такие несправедливости в семьях. Моя несправедливость отразилась на его характере—я замечал, что, играя с другими, он, бедняга, всегда косился одним глазом на меня, и — стоило мне сделать резкое движение, как он уже начинал кричать и стрелой неуклюже несся под кровать или на постель к матери. Любопытно было наблюдать, как своей придирчивостью к нему я внушил ему слишком низкую оценку самого себя. Рос и развивался он быстрее своих сестер, но долго тщательно избегал драк с другими собаками и, в случаях столкновения, предпочитал ретироваться. Но однажды я заметил, как он ВЫНУЖДЕН был к обороне, так как отступление ему было отрезано: с жалобным визгом он вцепился в ухо своему противнику и своей здоровенной черной лапой нанес другой собаченке такой удар, что она перевернулась. Эффект был неожиданный — остальные противники подались назад, а сам Оксе в недоумении остановился. Этот момент переродил его характер — он вдруг почув-

ствовал свою силу и тогда уже сам решительно перешел в наступление. Противники с визгом рассыпались. С момента этой стычки Оксе стал другим — теперь он охотно сам нападал на собак и сознание своего явного физического превосходства доставляло ему видимое наслаждение. Оксе стал достойным сыном Мойтрука и скоро все булунские собаки должны были почувствовать это на себе. Но ко мне он сохранил прежний пиэтет, связанный со страхом — отголосок его детских воспоминаний.

Когда щенята подросли, мне пришлось раздать их приятелям и знакомым в Булуне. Но они долго еще ходили ко мне в гости и забавно было смотреть, как Нена при встречах каждого из них обследовала, заботливо обнюхивая со всех сторон — как будто она их при этом свидетельствовала и, быстро закончив эту операцию, равнодушно отходила в сторону. Казалось, она им говорила: „вырос — и живи своим умом, нечего больше на мать рассчитывать!“

Пришел май, чувствовалось уже приближение весны. Давно уже прилетели первые ее вестники — жизнерадостные „снегирьки“ (лапландские подорожники). Появились, наконец, и чайки. Ждали гусей.

Еще зимой я решил встречать эту весну в Сиктяхе, маленьком летнем рыбачьем поселке, верстах в двухстах выше Булуна по Лене. Благодаря особым природным условиям — сдавленности в этом месте ленской долины — Сиктях для охотников

представлял особый интерес: там был всегда особенно интенсивный весенний пролет всякой болотной дичи — лебедей, гусей, уток, куликов. А я в то время увлекался орнитологией и Сиктях наметил для себя, как наблюдательный пункт.

В путь отправился я в первых числах мая. Я сам управлял оленями и моя нарта быстро мчалась вдоль берегов или по самой Лене между огромными изломанными „торосами" (льдинами), поставленными торчком во время осеннего рекостава. Нена бежала сзади. При езде на оленях собака никогда не бывает „простая" (т. е. непривязанная), так как обычно олени пугаются собаки и бросаются от нее, сломя голову в сторону. Нена понимала это и не протестовала, — хотя мне и было ее жалко, но я боялся повредить ее репутации в глазах моего проводника-якута, посадив ее на нарту. Ехать пришлось по кочевьям тунгусов и оленных якутов, которые в это время года меняют свои пастбища. Ночевали мы в их палатках из оленьей ровдуги (выделанная на подобие замши кожа). Нена немедленно забиралась в палатку и спала всегда у меня в ногах, ни на минуту не покидая хозяина. Она хорошо знала свое место.

Тут впервые она меня поразила одним своим качеством, которое позднее мне так чисто приходилось подвергать испытанию — она удивила меня своей необычайной способностью приспособления к новой обстановке. Это чувство приспособления, несомненно, было у нее врожденное — от тех ее

диких предков, которые жили всегда на лоне природы. Она чувствовала, видимо, себя во время этого моего кочевания и в тунгусских палаткак так, как будто всю свою жизнь только и делала, что кочевала и жила по палаткам среди снегов. Для меня очевидно было, что такая перемена жизни ей даже нравилась.

Через три дня восхитительного путешествия мы приехали в Сиктях. Там было около 6-8 нежилых якутских юрт, мне предстояло поселиться в одной из них. С помощью якута-проводника я выбрал ту, которая мне показалась опрятнее и сохраннее, очистил камелек и внутренность юрты от снега и подтащил к ней свою „ветку", которую предусмотрительно привез с собой на особой нарте из Булуна. Затем напоил проводиика чаем и отправил его во свояси. Я остался один с Неной — на сотни верст кругом не было живой человеческой души.

Три или четыре первые дня мне пришлось затратить на оборудование своего дома. Последний раз в нем жили летом, зимние пурги, конечно, жестоко его потрепали. Ту груду московских и петербургских газет, которую я привез с собой для чтения, пришлось истратить на то, чтобы по возможности заткнуть все те многочисленные щели, из которых вывалился мох. Затем надо было запастись льдом для чайника и для кухни, натащить дров. В этой работе мне добросовестно помогала Нена.

Зажил я Робинзоном. Гуси еще не показывались. Я или на лыжах бродил с Неной по окрестностям

или лежал в своей юртенке за книгой, греясь у камелька. Мерз, немножко голодал, но был счастлив.

Есть какое то неиз'яснимое наслаждение в такой жизни — вдали от всего, наедине с самим собой, среди дикой и чуждой обстановки. Солнце уже перестало закатываться, ночью оно становилось розовым и волшебным светом окрашивало снег. Бормотали по ночам куропатки. Однажды они даже устроили свое токовище у меня на крыше, чем привели Нену в неописуемое волнение. Но и я оказался чрезвычайно восприимчивым к голосам весны. Первый же пролетевший над Сиктяхом гусь прогнал мой сон — я немедленно услыхал его крик и вскочил с постели.

С этой минуты я потерял покой. Гуси — сначала парами, потом вереницами. Стройными станицами пролетали царственные лебеди, звонко трубя серебряными голосами. Шумливыми черными толпами низко надо льдом реки стремились утки. Бесконечное множество куличков — песочников, плавунчиков, турухтанов, камнешарок. Бекасы, кроншнепы... Кого, кого тут не было. Притаившись за льдиной, я сидел с ружьем и не мог налюбоваться на это нашествие. Скоро мне надоело стрелять и двухстволку я заменил биноклем. Мне нравилось, лежа на снегу, следить за южным горизонтом, откуда выходила Лена. Я смотрел, как из за горизонта одна за другой появлялись стаи птиц, как веером, пучками, пачками разбрасывались они по воздуху — непрерывно, непрестанно. Это походило на какой

то фейерверк, как будто где-то там далеко, на горизонте, пучками одна за другой вылетают звезды римских свечей и рассыпаются в вышине. Воздух был полон ликующего весеннего гама, видно было, что сами птицы опьянены своим количеством, своим криком, весной, солнцем.



Нена должно быть переживала нечто подобное тому, что переживал я. Она послушно лежала рядом в снегу и, не отрываясь, глядела на этот птичий поток — глаза ее горели.

Около месяца прожил я в Сиктяхе — из них не меньше двух сплошных недель продолжалась эта вакханалия северной весны,

Солнце уже растопило льдину в моем окне и мне пришлось заменить ее вдвое сложенным листом „Русских Ведомостей". В ночь на первое июня наступил так долго жданный момент — тронулась Лена.

Кто не видел ледохода на Лене, тот не может себе и представить этой картины во всем ее величии. По размерам своим Лена считается одной из самых больших в мире рек — если не ошибаюсь, ее считают третьей (сначала, кажется, Миссури, по-

том Нил). Длина ее до сих пор не установлена — кто считает 4.500 верст, кто свыше 6.000. Ширина ее у Якутска — около 10 верст, несколько ниже — достигает 60 верст (конечно, с островами), но возле Сиктяха и Булуна она сдавлена каменными берегами и идет одним руслом шириною не более трех верст — как бы в каменном жерле. О силе и количестве воды в Лене можно судить по тому, что ширина ее морской дельты равняется пятистам верстам! Там она разбивается на бесчисленное количество рукавов и интересно, что до сих пор еще не найдено то основное русло, которым Лена впадает в океан, прокладывая себе дорогу к морю через груды ила, песка, вырванных с корнями деревьев, вынесенных громадой вод... Уже по одним этим данным можно судить, что из себя должен представлять ее весенний ледоход. Добавьте к этому, что лед на Лене достигает 3-4 аршин толщины. Теперь вообразите сами, что может происходить на Лене во время ледохода, когда образуется в каком-нибудь месте ее затор. Затор происходит обычно в изгибе реки, где собирается много льдин, и образует естественную плотину. Вся масса воды и колоссальных льдин напирает на эту плотину — вода быстро поднимается, льдины — величиной в целые дома — сталкиваются, растираются в порошок или громоздятся одна на другую. А сзади идет новая вода, идут новые льдины... Во сколько лошадиных сил должно образоваться здесь давление? — Какой математик разрешит эту задачу? Я видел, как льди-

нами Лена срезала края берега с ростущими на нем деревьями с такой же легкостью, с какой нож режет масло. Я наблюдал однажды в течение по крайней мере полуминуты грандиозную картину фонтана из огромных льдин, которые с чудовищной силой выбрасывались на воздух... И все кругом полно гула и грохота, сопровождаемого стеклянным звоном рассыпающихся льдинок...

А какие храмы, часовни, памятники остались на берегах, когда схлынула первая бурная вода! Каким сверкающим светом блистали они на фоне черной воды и голубого неба, прозрачные как стекло, как леденцы. Как интересно было пролезать запутанным, причудливым лабиринтом между этими перевернутыми, поставленными торчком, нагроможденными один на другой так, что они образовывали своды, торосами...

Проходили по реке уже последние льдины, а берег все еще был усеян этими громадами. Вот, наконец, показался и первый паузок с рыбаками, плывущими на низовые пески Лены из Якутска. Мы с Неной давно уже караулим этот момент — наши вещи собраны и сложены. Я несколько раз стреляю из ружья, мне с паузка отвечают тем же (таков здесь обычай) — и паузок подходит к берегу. Через несколько минут мы с Неной вместе с нашими вещами уже на паузке. Там, вместе с якутами-рыбаками, обтрепанный русский — оказывается, какой то заблудший в Якутске актер. Он рассказывает мне якутские новости, угощает жареной картошкой—

лакомство, которое в Булуне весной всегда является таким желанным и таким вкусным.

Через сутки я уже дома, в Булуне. Нас торжественно, с ружейными выстрелами, встречает все население — я радостно здоровуюсь с товарищами, Нена озабоченно обнюхивает своих выросших детей, которые визжат от радости.

Проходит лето. Приближается конец моей ссылки — с последним пароходом я еду в августе в Якутск. Новые впечатления, новая для Нены пароходная обстановка. Ее, видимо, поражают эти перемены и она инстинктивно жмется ко мне, уверенная в том, что я все знаю, все понимаю. Мы гуляем с ней по берегу, пока на пароход грузят дрова, в остальное время она послушно и чинно лежит либо у меня в каюте, либо около моего стула на палубе. Только один раз было с ней приключение. Наш пароход остановился около Жиганска для приемки дров. Когда то это был „город“, теперь от него осталась лишь почерневшая деревянная церковь, возле которой живет со своей семьей священник, и несколько якутских юрт. Мы шли с Неной по улице — около дома священника показался прекрасный белый петух. Не успел я опомниться, как Нена рванулась вперед, послышался отчаянный петушиный крик, в зубах Нены остался весь роскошный хвост петуха — его краса и гордость, а сам он успел перемахнуть через соседний плетень. Я схватил Нену за шиворот — она дрожала от возбуждения. Только тогда я сообразил, что никогда

еще в своей жизни Нена не видала кур и эти незнакомцы, конечно, должны были произвести на нее впечатление. Сказалась в ее крови и дикарка. Это и позднее бывало — когда она видела какое-нибудь новое животное, она от волнения начинала в буквальном смысле слова трепетать.

Якутск произвел на нее сильное впечатление своими улицами, домами, множеством народа (по сравнению с Булуном, конечно, где всего то было не больше тридцати домов). Но, признаться, и я был взволнован. Ведь я уже четыре года не видел такого большого города, четыре года жил по существу в условиях охотничьей, кочевой жизни. Помню, с каким изумлением остановился я при встрече с какой-то местной щеголихой, одетой по последней моде, дошедшей до Якутска. Была она в очень короткой и очень узкой юбке и я был так поражен ее необыкновенным видом, что остановился и смотрел ей вслед, пока она не скрылась из вида. Но я также заметил, что и прохожие с любопытством на меня оглядываются — очевидно, и мой северный костюм отличался от местного. Со смехом поймал я себя также на том, что, ходя по городу, я, оказывается, предпочитал ходить серединой улицы, а не тротуаром. Очевидно, за эти четыре года одичание коснулось и меня.

Нена в Якутске обращала на себя большое внимание и прохожие нередко меня спрашивали, не волк ли это. Мне такое внимание к ней было приятно.

Теперь каждый день подносил Нене сюрпризы. Большие дома, лестницы, большие комнаты, на улицах какие-то странные грохочущие сооружения на колесах (Нена в своей жизни видела только сани), какие то необыкновенные собаки — таксы, болонки. Но самое сильное впечатление на нее произвели, конечно, кошки. К ним у нее был какой-то болезненный интерес, она, повидимому, считала, что каждая кошка подлежит немедленному уничтожению и при виде ее, где бы то ни было, бросалась на свою жертву, забывая все. Память у нее была изумительная — она всегда на мгновение останавливалась, приподнимала голову и водила носом перед подоконником, на котором она вчера, два дня тому назад или неделю тому назад видела кошку, она всегда снова тщательно обнюхивала ту подвортню, куда в паническом страхе от нее бросилась несколько дней тому назад кошка... За дикость ее нрава мне пришлось также поплатиться и тем, что во дворе того дома, где я жил, она прокопала ход под забор и передушила нескольких кроликов, которых выращивал в специально отгороженном для них садике ссыльный товарищ поляк.

Пора было возвращаться в Россию. Сначала на пароходе до Витима, затем до Жигалова на „шитиках“ (небольшие крытые лодки), которые на канате тянут лошади, наконец, несколько сот верст на перекладных от Жигалова до Иркутска. Около месяца продолжалось наше путешествие. За это время я еще больше полюбил Нену за ее неприхо-

тливость и готовность примириться с любой обстановкой. Целыми днями она мирно лежала в каюте, ничем не выдавая своего присутствия и с благодарностью принимая от меня предложение прогуляться по берегу во время остановки парохода. Смирно сидела рядом со мной на корме шитика и, наконец, что было, вероятно, для нее наиболее мучительно — не меньше недели просидела у меня в ногах в тесном тарантасе на перекладных. Ни разу она не протестовала, ни разу меня не ослушалась.

Иркутск, конечно, был уже значительно серьезнее Якутска. Помню, что и я волновался, под'езжая к нему — ведь здесь была уже железная дорога, по которой через семь дней можно домчаться до Москвы, здесь можно было получить ответ на свое письмо через две недели, значит очень скоро узнать все и обо всех... С нетерпением соскочил я с пыльного тарантаса, остановившегося перед гостинницей. Нена, конечно, выскочила еще раньше меня. И как не был я взволнован приездом, я не мог не обратить внимания на поведение Нены. Выпрыгнув из тарантаса, она бежала по мостовой, низко опустив голову и обнюхивая на бегу каждый камень — временами она останавливалась и скребла лапой. Бедная дикарка была, очевидно, поражена, почему это все камни лежат так ровно и так близко один к другому... Я испытал чувство гордости за городскую цивилизацию.

Бедной Нене пришлось теперь туго. Мне часто приходилось уходить из дому — надо было офор-

мить свои бумаги в полиции, были и деловые свидания. И мне приходилось запирать Нену в своем номере. Должен сознаться, что я всегда торопился вернуться домой и, возвращаясь, с удовольствием думал о том, что Нена меня уже дожидается. С удовольствием ходил с ней гулять по улицам, причем она долго не могла привыкнуть к тому, что идти следует обязательно по троттуару — обычно она носилась по всей улице, всегда обращая на себя внимание прохожих, иногда даже пугая их, так как многие принимали ее за волка.

Повидимому, Нену сильно смущали те разнообразные запахи, которых так много всегда в каждом городе. Я долго не мог понять, почему она всегда в таком волнении останавливается на углу, мимо которого нам часто приходилось проходить,— пока не встретил однажды на нем татарина, продовавшего лисьи шкурки: на этом углу, оказывается, была его любимая стоянка.

Однажды я испытал с Неной довольно неприятное приключение. Мы прогуливались по Большой улице, причем Нена чинно бежала впереди по троуару. Вдруг она сделала несколько больших прыжков, догнала шедшую впереди даму и, встав на задние лапы, оперлась передними на ее спину — у Нены, оказывается, появилась потребность обязательно понюхать горжетку из песца, которая была на шее этой дамы. Можно себе представить тот визг, который подняла испуганная дама, подвергшаяся неожиданному нападению „волка“, глупость

моего положения и недоумение Нены, которой я строго выговаривал за ее поступок. С тех пор на улице я уже не спускал Нену с ремня.

По железной дороге ехать с Неной оказалось легче, чем я думал. Согласно железнодорожным



правилам того времени собаку можно держать в купе лишь в том случае, если против нее не протестуют пассажиры, но достаточно одного протеста — и она должна быть помещена в собачье отделение, т. е. в ужасный собачий куток багажного вагона. Нена вела себя так чинно и скромно, она вызывала такое восхищение всех пассажиров и случайных попутчи-

ков, что никаких недоразумений у меня с ней не возникало Из других купе ее поклонники обычно даже приносили для нее об'едки и косточки, которые и сдавали мне (я никому из посторонних не позволял кормить Нену), детишки с моего разрешения усиленно гладили ее голову. Когде в купе приходили новые пассажиры, я строго говорил Нене — „пшла на место!“ — и Нена сейчас же, грустно взглянув на меня, пряталась под скамейку и там, в темноте, я видел, как блистали ее фосфорические глаза. Однажды, впрочем, вышла неприятность. Где-то в западной Сибири в наше и без того уже переполненное купе влез толстый пьяный купчина и, зная, очевидно, железнодорожные правила относительно собак и желая отвоевать себе место, поднял скандал и потребовал от кондуктора, чтобы Нена немедленно была помещена в собачий вагон. Он возмутил против себя население всего вагона и какие-то сердобольные дамы приютили Нену к себе в купе, а я несколько длинных ночных перегонов, трепеща за участь Нены, простоял в проходе возле этого дамского купе.

Здесь, за эти пять тысяч верст железнодорожного пути, я еще больше оценил поразительную способность Нены к приспособлению — для такой дикарки, какой по существу оставалась Нена, прожить целую неделю в трудных условиях вагонной жизни было, конечно, настоящим подвигом.

В Москве среди домашних Нена произвела фурор — они знали уже о ней по моим письмам и

ждали ее. Очень скоро сделалась она любимицей дома. Днем она жила под ломберным столиком в столовой и тихо лежала там на своем коврике. Утром от каждого она получала свою порцию — 5-6 сухариков, намазанных маслом. Это было ее самым любимым лакомством, причем особенно важно было, чтобы сухарики были совсем сухие и как можно громче хрустели на зубах. Получив от каждого положенную порцию, она скромно удалялась на свой коврик. Но если кто-нибудь забывал ее, она напоминала о себе тем, что подходила к его стулу и, виляя кончиком хвоста, резким движением царапала лапой колено сидевшего за столом — иногда она просто лишь нежно клала на колени свою голову и, не отрываясь, пристально глядела в лицо заинтересованному, пока не получала своего. Вечером сама шла ко мне в комнату — она хорошо знала, что должна ночевать в одной комнате с „НИМ!“ — и утром я опять, как бывало в Булуне, просыпаясь, встречался глазами прежде всего с Неной.

Эта дикарка проявляла теперь необыкновенный консерватизм в характере — у нее были свои установившиеся привычки, сложившиеся в полной зависимости от нашего домашнего обихода, — в определенные часы она вставала, в определенные часы просилась гулять. Перед прогулкой она неизменно вспрыгивала на деревянный диван в передней, проявляя тем свою бурную радость, на лестнице вскакивала на подоконники каждого этажа...

Особенно подружилась она с моей маленькой

племянницей. Верочка была в восторге, когда я сшил Нене упряжь и заставил ее возить Верочку в санях по двору — даже посторонние любовались этим, как невиданным зрелищем. Любила еще Верочка играть с Неной в прятки. Для этого они вдвоем спускались вечером в контору, когда там уже кончались занятия. Верочка зажигала во всех комнатах электричество и пряталась где-нибудь за дверью или под конторкой, откуда и кричала свое: „ку-ку, Нена!“ — Нена срывалась с места и начинала носиться по большим комнатам, перепрыгивая через стулья, вскакивая на столы, но ничего с них не роняя, проявляя необыкновенную энергию и подвижность. В эти минуты Нена была так красива! Горящие глаза, алый язык в



разинутой пасти, белые клыки — и сама вся трепещущая, вся напряженная. Со смехом я замечал, как она стремглав проносилась мимо той двери, за которой пряталась Верочка, косясь в то же время на нее одним глазом. Она поняла смысл игры и несомненно делала вид, что не замечает Верочки — она, которой вовсе не нужны были глаза, чтобы знать наверняка, за какой дверью Ве-

рочка пряталась, которая издали носом своим все уже чуяла и распознавала. Но она хотела продлить удовольствие Верочке, хотела продлить удовольствие от этой игры и беготни самой себе. И обе, довольные, возвращались наверх — Верочка, разгоряченная, хохочущая, с растрепанной косичкой, Нена — тоже возбужденная, с высунутым языком, оскаленной пастью. И придя наверх, Нена послушно ложилась на свой коврик и часами лежала смирно, зная, что наверху не полагается буянить.

Иногда я устраивал Нене праздник: брал извозчика и ехал с ней в Петровский парк. Она очень любила кататься на извозчиках — стоило на минутку остановиться около пустых саней, Нена уже сидела на сиденьи и тем срывала начатый с извозчиком торг. И всю дорогу сидела смирно, плотно ко мне прижавшись как бы старалась тем предостеречь себя от соблазна броситься на показавшуюся на троттуаре кошку или от желания спрыгнуть и подойти познакомиться с заинтересовавшей ее собакой. В Петровском парке она соскакивала с саней и начинала носиться по нетронутому глубокому снегу, взметая носом снег вверх и подхватывая его комья разинутой пастью. Для нее такие прогулки были величайшим наслаждением — она, конечно, переживала при этом впечатления далекого севера.

От одного я не мог отучить Нену — от какой то болезненной страсти к кошкам. Тут ничто не могло помочь — при виде кошки Нена стрелой бросалась на нее и горе было той, которая не успевала

мгновенно юркнуть в подворотню или взобраться на забор. Не могу забыть тяжелого впечатления, какое произвела на меня одна такая встреча Нены с кошкой. Мы спокойно шли по троттуару, Нена бежала на ремне, по обыкновению сильно тяня меня вперед, как будто сзади нее была нарта. Вдруг из за угла на нас наскочила кошка — не успел я опомниться, Нена лязгнула зубами и в буквальном смысле слова откусила верхнюю черепную коробку кошки. Я даже не успел ахнуть, Нена же, повидимому, была очень довольна и, конечно, все находила в порядке вещей. У нее в это мгновение было такое выражение, какое на севере я видел у хищников — волков, лисиц и песцов, показывающих свой страшный оскал...

Но с кухонным Васькой она жила в дружбе! Они никогда не дрались и Нена даже, повидимому, к нему благоволила. Она обнюхивала Ваську со всех сторон и он при этом даже не выказывал страха перед Неной. Чтобы поддразнить Нену, я иногда, держа ее за ошейник, приглашал Ваську к ее чашке. Надо было видеть, что делалось в эти минуты с Неной, какие муки собственника испытывала она за свои куски — она вырывалась из рук, визжала от нетерпения. А Васька, зная всю эту игру, неторопливо выбирал кусок и медленно шел с ним на лестницу. Со всех ног, с визгом нетерпения бросалась Нена за похитителем, в одно мгновевие настигала его и вырывала кусок из зубов Васьки, не причиняя ему, однако, при этом никакой физической неприятности...

Везде в магазинах и на улицах Нена обращала на себя внимание. Ее знали всюду на Кузнецком Мосту, на углу которого мы в то время жили — незнакомые люди подходили ко мне и спрашивали, чья это собака и что это за порода. И это внимание к Нене доставляло мне истинное удовольствие.

Когда в Москве открылась собачья выставка, я нашел время сидеть там с Неной целыми днями и принял, как нечто должное, когда Нене жюри присудили золотую медаль и большую серебряную. Аттестат об этом я повесил дома над ее ковриком.

Мне приходилось за это время несколько раз уезжать по делам в Петербург и расставаться с Неной — и после разлуки мы оба одинаково радовались встречам. Нена бросалась мне на грудь и как то в мгновение ока проводила горячим языком по всему моему лицу — я бранился, но в душе был доволен. Домашние мне рассказывали, что без меня Нена ходила как потерянная и сразу находила себя при моем возвращении — она успокаивалась и без особого приглашения снова переселялась на ночь в мою комнату.

Больше года прожили мы с Неной в Москве. За это время она обзавелась новой семьей — опять четверо, — на этот раз три сына и одна дочка. Из них особенно хорош был один, — такого красивого щенка я не видывал: он был весь серый и лишь на груди во всю ее ширину расходился четырехконечный правильный крест. Казалось, что он вырисован был по линейке. Увы, все четверо погибли,

прожив около двух месяцев. У сибирских собак щенята обычно в Европе не выживают: так называемая чума, которой подвержены все европейские собаки и против которой у них, повидимому, выработалось в организме противоядие, для сибирских щенят смертельна.

В конце этого лета мне необходимо было по делам с'ездить в Забайкалье. С большой неохотой расставался я с Неной, тем более что мои домашние уезжали все на черноморское побережье и теперь мне приходилось отправлять ее туда. Я боялся, что родившаяся на далеком севере Нена не сможет привыкнуть к югу, да еще в самом знойном летнем периоде.

Полтора месяца был я в отсутствии и из Сибири прямо проехал к Черному морю.

Нену, к своему удивлению и большой радости, я нашел в полном здравии. Она даже поразила меня своим цветущим видом и тем, что как будто вполне приспособилась к обстановке, которая так непохожа была на долину Хараулаха и на низовья Лены.

В первый день моего приезда радости Нены не было конца. Она прыгала вокруг меня, лизала мне руки и лицо, ни на шаг не отходила от меня. На ночь сама пришла ко мне в комнату и устроилась на коврике возле моей кровати. Она лежала, положив между лап голову, не спуская с меня глаз и я понимал, что она говорила мне своим молчаливым взглядом: „ну, наконец то, опять все в порядке, все

на своем месте — „ОН!“ здесь, „ОН!“ со мной“. —

Опять, как бывало в Булуне, я уходил с Неной в лес и горы. Она рыскала между деревьев, принюхивалась к каждому следу, оставленному зайцем — как и на севере, без труда читала книгу лесных тайн и совсем не боялась колючек, которых так много в черноморских лесах и которые для тамошнего путника являются такой неприятной помехой.

Каждое утро провожала она меня к морю, но никогда не подходила к нему близко и ложилась среди кустов, пристально следя издали за „ЕГО!“ платьем, пока я купался. Напрасно я звал ее к себе из воды — она неподвижно лежала на месте, несомненно страдая от того, что не могла исполнить моих приказаний. Только из расспросов я понял, почему она всегда держалась на таком почтительном отдалении от моря. Когда Нена в первый раз очутилась на берегу, она смело подбежала к воде и попробовала напиться. Но море обмануло ее — Нена скорчила гримасу, несколько раз с недовольным видом покрутила головой и отбежала в сторону. С той поры она прониклась недоверием к морю и даже я не мог переубедить ее в этом.

К моему большому удивлению Нена полюбила южное солнце. Она часами лежала на солнечном припеке, когда мы, наоборот, старались спрятаться от солнца в тень. Это были настоящие солнечные ванны — шерсть ее становилась такой горячей, что трудно было к ней прикоснуться. И когда я с удив-

лением спрашивал Нену, как она может это терпеть, она лишь закидывала назад голову, чтобы заглянуть мне в глаза и лениво била кончиком хвоста по земле.

Мне не удалось прожить долго вместе с Неной —дела звали меня назад в Москву. Ехал я неохотно и с болью в душе расставался с Неной — как будто предчувствовал, что это была наша последняя встреча. Еще и сейчас вижу, как она стоит за калиткой, просунув свою острую морду между досок и долгим немигающим взглядом глядит мне вслед. Еще сейчас слышу ее надрывающий полулай-полувой, которым она провожала мой от'езд, прыгая вдоль забора...



В каждом письме из дома мне писали о Нене, так как знали, что я по ней скучаю не меньше, чем она по мне. Через несколько месяцев я начал получать о ней тревожные сведения: Нена плохо ест, скучает, сильно похудела. У нее начались какие то судороги, как будто ее начала трепать лихорадка. Доктор пришел к убеждению, что у Нены, действительно, кавказская лихорадка. Начали давать ей хинин — не помогает.

Наконец, получил от сестры письмо, которое начиналось такими словами: „у нас большое горе — не знаем, как тебе написать об этом. Ты, конечно, догадался — я говорю о Нене. Да, Нена сегодня умерла... Мы ее похоронили на том месте, которое ты как любил — у „трех братьев“, помнишь — тех трех дубов, откуда видны и море, и долина и горы“...

Мне не стыдно признаться, что при чтении этого письма я плакал.



Склад издания:
Книготорговое Акц. Общ. „Логос“
Berlin SW 68